

ИВАНОВ ЧЕРТ, ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР
И «АГАСВЕР» КЮХЕЛЬБЕКЕРА:
ОБ ОДНОМ ВЕРОЯТНОМ ИСТОЧНИКЕ
«БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ»

Поиск интертекстуальных нитей в произведениях Ф. М. Достоевского – сложнейшая и неисчерпаемая задача. Это зависит, очевидно, от небывалой начитанности писателя, а еще больше – от скрытого потока реминисценций и подсказок, населяющих его творческие наброски, часто доведенных им до полной неузнаваемости. Любой сюжет – литературный, бытовой, журналистский, речевой – может стать началом для новой творческой идеи, переплетаться с другими внутренними и внешними интертекстуальными пластами. Даже записные тетради не всегда передают в открытую отголоски смыслового потока, сознательного и подсознательного, часто основанного на свободном ассоциативном сближении разнородных элементов.¹

¹ Ср. наблюдения Натана Тмарченко: «Формальная выделенность, точность воспроизведения и прямая отсылка к источнику свидетельствуют, по-видимому, о культурной (литературной) значимости авторства и, следовательно, – о соблюдении авторских прав. Наоборот, невыделенность чужого текста, его анонимность и неточность воспроизведения могут быть способом указания на первостепенную значимость традиции, которой принадлежит этот текст; авторская же индивидуальность делает именно его в этом отношении наиболее репрезентативным. В таком случае указание авторства могло бы сместить акцент. Поэтому приемом, наиболее адекватным поставленной задаче, оказывается “деавторизация” цитируемого текста» (Тмарченко Н. Скрытая цитата как отсылка к жанровой традиции («Преступление и наказание») // Аспекты поэтики Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов / Под ред. К. Кроо, Т. Сабо и Г. Ш. Хорват. СПб., 2011. С. 22 (Dostoevsky Monographs; Vol. II)). Тмарченко возводит этот прием к понятию «память жанра» и убедительно доказывает употребление Достоевским скрытой цитаты на

Предлагается в данной работе прочтение двух из ключевых эпизодов романа «Братья Карамазовы» – главы «Великий Инквизитор» и главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» – в сопоставлении с отрывками из незаконченной поэмы В. К. Кюхельбекера «Агасвер», опубликованной в журнале М. И. Семевского «Русская старина» в 1878 г. (т. 3, март, с. 403–462) под заглавием «Вечный Жид». Сближение и сопоставление произведений двух настолько разных по величине писателей – абсолютно ново,² оно может показаться, на первый взгляд, и несколько замысловатым, тем более учитывая, что в наследии Достоевского не регистрируется ни одного упоминания о Кюхельбекере; тем не менее, как увидим, присутствие в библиотеке писателя данного тома «Русской старины» и его интерес, им самим подчеркнутый, к содержанию этого журнала именно в период создания романа «Братья Карамазовы» позволяют предположить что-то существенное, чем простое наличие типологических совпадений в определенных параллелях между отрывками вышеуказанных произведений.

Отношения Достоевского с историком и издателем Михаилом Ивановичем Семевским (1837–1892), основателем журнала «Русская старина», отдельно почти не изучены. Это достаточно удивительно, если учесть невторостепенное значение Семевского в культуре 60–70-х гг. XIX в. и, тем более, его неоднократные контакты, как личные, так и профессиональные, с писателем.³ Эти контакты начинаются в период издания братья-

примерах из «Преступления и наказания». О теме значения цитаты в творчестве Достоевского см. также в настоящем сб.: Тарасова Н. А. Интертекстуальные связи в рукописном тексте Достоевского: постановка вопроса.

² Частичным, но значимым исключением стоит статья: Багно В. Е. К источникам поэмы «Великий Инквизитор» // Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб., 2006. С. 335–349, в которой раскрывается другая важная вероятный источник для поэмы о Великом Инквизиторе – повесть «Таинственный жид», опубликованная в «Московском телеграфе» в 1830 г. и касающаяся легенды о вечном жиде. Повесть, авторство которой до сих пор не установлено, является одним из источников поэмы Кюхельбекера «Агасвер», что было замечено исследователем. Настоящая работа позволяет расширить тему связи поэмы Ивана Карамазова с легендой о вечном жиде и предполагать, что Достоевскому легенда была известна не только по одноименному роману Э. Сю и по вышеуказанной повести, но и по поэме Кюхельбекера.

³ О чем свидетельствуют работы, напр.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.; Пг., 1922. С. 49;

ми Достоевскими журнала «Время» (1861–1863), сотрудником которого молодой Семевский стал по настоянию Федора Михайловича.⁴ Именно в период сотрудничества с Достоевскими Семевский активно собирал материалы о жизни декабристов в Сибири для «Полярной Звезды» Герцена; копии этих материалов готовил для него другой сотрудник Достоевских, корректор «Времени» К. К. Сунгуров, что привлекло внимание III Отделения к антуражу журнала.⁵ Несмотря на сильные расхождения взглядов между Достоевским и историком-либералом, их контакты, никогда не ставшие тесными, не прекращаются в дальнейшие годы, о чем свидетельствуют три письма Семевского Достоевскому (1866 и 1876 гг.) и ряд косвенных фактов. Среди них самый значимый для этого исследования состоит в том, что в библиотеке Достоевского имелись все выпуски исторического журнала Семевского «Русская старина», основанного в 1870 г., за три полных года, с 1876 по 1878 г.⁶ О том, что писатель читал «Русскую старину» с интересом, черпая из нее идеи для своих художественных и публицистических замыслов, свидетельствует в первую очередь упоминание Ивана Карамазова в главе «Бунт» («...только что прочел в одном из сборников наших древностей, в “Архиве”, в “Старине”, что ли, надо справиться, забыл даже, где и прочел» – 14, 221). Это недвусмысленно обозначает присутствие «Русской старины» в круге чтения Достоевского в работе над романом «Братья Карамазовы», а поэма Кюхельбекера «Вечный Жид», как выше указано, была опубликована именно в марте 1878 г.: следовательно, в одном из выпусков журнала, которые вошли в библиотеку писателя.

Коган Г. Ф. Разыскания о Достоевском // Литературное наследство, М., 1973. Т. 86: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. С. 710–738, а, в особенности, в недавнее время: Балакин А. Ю. Достоевский – участник сборника «Складчина» // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1997. № 14. С. 287; Отливанчик А. В. Достоевский в период редактирования «Гражданина»: даты и документы (К уточнению вопроса) // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2007. № 18. С. 394–421. Показательно, что нет статьи о Семевском в энциклопедии Н. Н. Наседкина (Достоевский. М., 2003).

⁴ См. письмо Семевского к М. П. Погодину от 11 декабря 1860 г. (Литературное наследство. Т. 86. С. 512).

⁵ См.: Там же.

⁶ См.: Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. СПб., 2005. С. 206.

Философская поэма в фрагментах «Агасвер», вместе с «мистерией» «Ижорский», является самым амбициозным произведением Вильгельма Кюхельбекера; он над ней работал, с большими перерывами, с 1832 г. почти до самой смерти. В поэме прослеживается история человечества с момента появления Иисуса Христа в Иерусалиме до смерти последнего человека, предвестием нового пришествия Христа перед концом времен и Страшным судом, как это происходит и в чуть более поздней и почти одноименной поэме В. А. Жуковского «Агасфер» (1852). Такое завершение и предполагает средневековая легенда, на которой поэмы обоих поэтов основаны.⁷ Кюхельбекер не оставил точного плана произведения, но поэме недостает еще одного или двух фрагментов. Фрагментарность «Агасвера» структурна, значит – она не следствие незавершенности произведения: в выборе значимых фрагментов из истории христианства автор обосновывает свою парадигму истории, состоящую в вечном и цикличном повторении одной и той же ожесточенной борьбы между двумя категориями людей – праведными и гонителями, людьми, ориентированными на духовное начало, и людьми, руководящимися материальными лжеценностями. Первые следуют Иисусову примеру; а вторые ищут счастье и самоутверждение в использовании власти, и праведники им мешают, поскольку своим примером они разоблачают ложность их системы: поэтому эти всячески гонят праведников. Свидетелем этих повторенных в разных эпохах гонений стоит легендарный иерусалимский сапожник Агасвер, «Вечный Жид», – великий грешник, Богом наказанный вечным скитанием и бессмертием за то, что на крестовом пути Иисуса к Голгофе толкнул Его со злобной насмешкой: Агасвер не сумел тогда понять, что Иисус проповедовал иное царство, а не политическую независимость Иудеи от Римской империи. Таким образом, Агасвер служит связующей нитью между эпизодами, он действует как главный герой только в первом фрагменте, дальше его роль – наблюда-

⁷ О мифе Вечного Жида в литературе см. среди пр.: *Anderson G. K.* The Legend of the Wandering Jew. Providence, 1965 (1970²); *Fisch H.* The dual image: The figure of the Jew in English and American literature. London, 1971; *Rouart M.-F.* Le mythe du Juif Errant. [Paris] 1988; *Malek E.* Legenda o Ahaswerze w twórczej interpretacji rosyjskich romantyków // Roczniki Humanistyczne KUL. 1993. T. 39/40 (1991/1992), z. 7. S. 57–71; *L'ebreo errante: Metamorfosi di un mito / A cura di E. Fintz Menascé.* Milano, 1993.

теля и, в некоторых фрагментах, второстепенного действующего персонажа.

Что в нем могло привлечь Достоевского? Тот том «Русской старины», в котором были напечатаны стихи Кюхельбекера, безусловно оказался в руках писателя, но этого еще недостаточно, чтобы утверждать, что он остановил свое внимание именно на тех страницах, на названии поэмы, на предисловии, а может быть, и на содержании «Агасвера».

Следует отметить, что «открытие» Семевским творческого наследия Кюхельбекера представляло в те годы некоторую интересную новость. В 1868 г. Семевский обратился к дочери Кюхельбекера, Юлии Вильгельмовне Косовой, с просьбой консультировать материалы из большого архива поэта-декабриста, умершего в 1846 г., с целью опубликовать часть из них в создающемся тогда журнале «Русская старина». Он получил разрешение и сотрудничество Косовой, и с 1870 г. большая часть архива Кюхельбекера оказалась в распоряжении Семевского.⁸ При жизни Кюхельбекеру ничего не разрешали публиковать после событий 1825 г., и только незначительная доля произведений, им написанных в течение двадцати лет, проведенных в заточении и потом в ссылке, вышла в свет анонимно благодаря хлопотам Пушкина и других друзей.⁹ Но и после смерти наследие Кюхельбекера оставалось надолго под запретом. Поэтому перед редактором «Русской старины» лежали многочисленные папки неизданных тетрадей и писем, относящихся к Пушкину, Жуковскому и их эпохе. В 70-е гг. XIX в. цензура стала допускать упоминания о декабристах, и Семевский начал выбирать те материалы, которые ему представлялись более ценными, прежде всего в историческом плане: письма Кюхельбекеру Пушкина, Жуковского, Боратынского, Катенина и других литераторов; письма Кюхельбекера этим же адресатам; дневник писателя периода заточения в крепостях Прибалтики; и, одной из последних публикаций, поэма «Вечный Жид», о которой идет

⁸ См.: Мстиславская Е. П. Творческие рукописи В. К. Кюхельбекера // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР. 1975. Вып. 36. С. 6; Косова Ю. В., Кюхельбекер М. В. Вильгельм Карлович Кюхельбекер: Очерки его жизни и литературной деятельности. Письма русских писателей 1817–1825 гг. // Русская старина. 1875. № 7. С. 333–382.

⁹ Ср.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 282–283, 416–419, 427–430.

речь.¹⁰ Таким образом, имя Кюхельбекера стало привлекать некоторое внимание как в связи с его политическим профилем декабриста, так и в связи с некоторыми произведениями, которые впервые выходили из неизвестности. Характерно, что в те годы больше всего получали распространение духовные стихотворения Кюхельбекера. По свидетельству прот. Т. И. Буткевича, опубликовавшего в харьковском журнале «Вера и разум» в 1899 г. (№ 22. С. 619–650) статью под названием «Религиозные убеждения декабристов», «еще в 60-х годах даже среди учеников духовных училищ ходил по рукам и был усердно переписываем рукописный сборник стихотворений В. К. Кюхельбекера, носивший название “Песни отшельника”».¹¹

Еще одно значительное свидетельство об интересе, возникшем по отношению к публикациям «Русской старины», мы находим в переписке Н. Н. Страхова со Л. Н. Толстым: через Страхова Толстой получал от Семевского и консультировал рукописные тетради декабристов. Зная интерес Толстого к декабристам и вспомнив о хорошем мнении, им как-то высказанном о Кюхельбекере, Страхов писал ему в марте 1878 г.:

У него [т. е. у Семевского] оказалось большое собрание непечатанных стихов и прозы Кюхельбекера и его дневник. Куча тетрадей произвела на меня самое привлекательное и грустное впечатление; но я побоялся труда и времени, которых будет стоить чтение и обдумывание этих рукописей. А вы ведь хвалили Кюхельбекера.¹²

Толстой отвечал из Ясной Поляны 16 марта 1878 г.:

Кюхельбекер трогателен, как и все люди его типа – не поэты, но убежденные, что они поэты, и страстно преданные этому мнимому призванию. Кроме того, 15 лет заточения.¹³

¹⁰ Дневник В. К. Кюхельбекера // Русская старина. 1875. № 8. С. 490–531; № 9. С. 75–91; 1883. № 7. С. 101–128; № 8. С. 251–272; *Кюхельбекер В. К.* Вечный Жид // Русская старина. 1878. № 3. С. 403–462.

¹¹ *Буткевич Т. И.*, прот. Религиозные убеждения декабристов // Вера и разум. 1899. № 22. С. 622–623. Несколько десятков стихотворений поэта были в те годы опубликованы в заграничных неавторизованных изданиях, таких, как, напр.: Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862. Т. 2 (ред. Н. В. Гербель); Люгня. Собрание свободных русских песен и стихотворений. Лейпциг, 1869; Избранные стихотворения Вильгельма Карловича Кюхельбекера. Веймар, 1880.

¹² Н. Н. Страхов, письмо Л. Н. Толстому, 15 марта 1878 г. // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1984. Т. 18. С. 833.

¹³ Там же. С. 831–832.

В суждении Толстого чувствуется отзвук общераспространенного предубеждения относительно Кюхельбекера, творчество которого было тогда в основном неизвестно; зато его интерес и сочувствие к личности декабриста очевидны. Вероятно, Толстой и читал в «Русской старине» поэму «Вечный Жид».

Учитывая все это, и в особенности вышеупомянутое внимание Достоевского к журналу Семеvского, вероятность, что он читал или, по крайней мере, перелистывал «Вечного Жид» в 1878 г., представляется очень большой. Нельзя даже исключать, что Страхов, который в тот период виделся и общался с Достоевским довольно часто, сообщал как Толстому, так и Достоевскому о выходе в свет «Вечного Жид». Но и сама фигура Кюхельбекера могла интересовать Достоевского по разным причинам, начиная с того, что он с ним разделял опыт и поводы наказания: в Сибири Достоевский даже связывался с людьми и местами, имевшими большое значение и для его предшественника-декабриста.¹⁴ Наверно, и тематика, и философско-религиозное ориентирование творчества Кюхельбекера могли бы привлечь внимание Достоевского, однако вероятность, что он мог читать хоть какие-то произведения Кюхельбекера до появления в печати поэмы «Вечный Жид» в «Русской старине», крайне невелика, так как эти произведения практически не имели распространения.

В 1878 г., в момент появления упомянутого номера «Русской старины», Достоевский активно работал над началом романа «Братья Карамазовы». Период создания первой части романа обозначается несколькими важными для писателя событиями: в первую очередь смертью сына Алеши в мае и поездкой с В. С. Соловьевым в Оптину Пустынь в июне; но еще и судом над Верой Засулич, завершением Русско-турецкой войны Сан-Стефанским мирным договором. В той или иной мере каждое из этих событий влияло на создание замысла романа. Особенно следует подчеркнуть то, как в первой половине 1878 г. Достоевский неоднократно сталкивался с вопросами, связанными со смыслом смерти и бессмертия. Частое общение с Владимиром

¹⁴ Напр., с Н. Д. Фонвизиной, присутствовавшей 16 августа 1846 г. на похоронах Кюхельбекера в Тобольске (ср.: Шкерин В. А. Кюхельбекер и Глинка // Урал. 1997. № 4. С. 185; см. также: Громыко М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850–1854 гг. Новосибирск, 1985).

Соловьевым и еще больше посещение его публичных лекций в Соляном городке, несомненно, сказываются в духовно-философских размышлениях, развиваемых Достоевским в «Братьях Карамазовых». Темой лекций Соловьева была его идея о «Богочеловечестве». В частности, лекцию 2 апреля 1878 г., на которой Достоевский присутствовал, Соловьев читал на тему «Второе явление Христа и воскресенье мертвых (искупление или восстановление природного мира). Царство Духа Святого и полное откровение Богочеловечества».¹⁵ Эта тема волновала не одного Соловьева: не раз Достоевский и молодой философ ее страстно обсуждали во время своих тогдашних встреч. В частности, толчком для обмена мнениями по этому поводу послужило одно письмо Н. П. Петерсона от 4 марта, где излагалась концепция бессмертия неизвестного тогда Достоевскому Н. Ф. Федорова. Идеи Федорова сильно заинтересовали Достоевского, который их пересказывал и Соловьеву, а в письме от 24 марта он просил Петерсона об уточнении о личности этого мыслителя (см. 30₁, 13–15). При всех этих совпадающих мотивах, приводящих к теме бессмертия и искупления грехов, было бы странно, если бы Достоевский, имея в руках мартовский выпуск «Русской старины», пропустил титульное название о «Вечном Жиде», безоговорочно ссылающееся на знаменитую легенду о человеке, наказанном бессмертием и вечными скитаниями.

Итак, аргументы, приводящие к предположению, что Достоевский ознакомился с поэмой Кюхельбекера, вполне конкретны, отчего уместно приступить к текстологическому сопоставлению, задачей которого будет предоставить нам элементы для уточнения и подтверждения этой предпосылки. На мой взгляд, в «Братьях Карамазовых» есть два главных узла для сопоставления с «Агасвером»: это «поэма» о Великом Инквизиторе и глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича».

Поэма Ивана Карамазова характеризуется Достоевским в письмах, написанных в дни ее сочинения, как изложение взгляда героя-отрицателя на человечество и на смысл Божья создания:

Современный *отрицатель*, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому (но страшному

¹⁵ См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 1995. Т. 3: 1875–1881. С. 265.

социализму, потому что в нем молодежь) – *указание* и, кажется, энергичское: хлебы, Вавилонская башня (то есть будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести – вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист! Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилистка, – Вы знаете это) – сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведения человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) – человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом «Великого Инквизитора» на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле.¹⁶

Героem-отрицателем – одним из самых ярких и популярных этой типологии, особенно важной в эпоху романтизма, – является и легендарный Вечный Жид. В поэме Кюхельбекера, в частности, он характеризуется упорством своего отрицания, даже после признания истинной природы Христа: в отличие от Агасфера поэмы Жуковского, который сразу после наказания подхватывает истину и принимает свою участь как необходимое искупление, герой Кюхельбекера признает, *но не принимает* Божий промысел, продолжая бунтовать против Него.¹⁷ Образцовое поведение праведников, с которыми он сталкивается, заставляет Агасвера колебаться, но не сдвигает его с позиции гордого сопротивления. В то же время интересно заметить, что Агасвер так же не принимает и позицию гонителей: в некоторых фрагментах он держится как совершенно безучастный – хоть и внимательный – наблюдатель, в других же – он в какой-то мере защищает праведных. Последнее происходит в первую очередь в тех фрагментах, где идут споры между концепциями жизни – материалистической и христианской, цинизмом и этикой: например, в третьем фрагменте, в котором идет ожесточенный спор Агасвера с безымянным отрицателем, «Некто» (о нем см. ниже); или же в четвертом фрагменте, в котором Агасвер стоит у смертного одра папы Григория VII и

¹⁶ Письмо Ф. М. Достоевского Н. А. Любимову, Старая Русса, 11 июня/79 (30, 68).

¹⁷ «Неумирающий странник смотрит не беспристрастно, не с упованием на радостную развязку чудесной драмы, которую видит, но как близорукий сын земли, ибо он с того начал свое поприще, что предпочел земное – небесному» (*Кюхельбекер В. К.* Предисловие к поэме *Вечный Жид* // Русская старина. 1878. № 3. С. 405 (переизд.: *Кюхельбекер В. К.* Агасвер // Избр. произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 2. С. 74).

упрекает его за то, что тот вел себя как любой другой светский император. Но всего ярче тема гибельного материализма, разрушающего, по мнению Кюхельбекера, духовные начала цивилизации и приводящего даже христианское вероисповедание на путь атеизма,¹⁸ разработана в седьмом фрагменте, посвященном периоду французской революции. Утилитаризм и рационализм, приложенные к религии, – главные враги Христова учения; тройному лозунгу французской революции – «Liberté, fraternité, égalité» – поддакивает у Кюхельбекера триада «Безверье, легкомыслие, разврат» (VII; 1), открывающая седьмой фрагмент поэмы. «Всё рушилось, всё пало; церкви нет» (VII; 78), но Агасвер тщетно радуется «глубокому упадку / В религии» (VII; 67–68): автор убежден, что духовный упадок – временное состояние, необходимое перед будущим возрождением, и что логика Божья иногда непонятна человеку, но только по его собственной близорукости:

Но гордого ума догадки суета;
Но насылает Бог неистовые бури
Для очищения померкнувшей лазури;
И чудным образом, средь гроз, и зол, и бед,
Дух просыпается, и вот находит след,
Находит верную, надежную дорогу
Обратно к своему Отцу и Богу. (VII; 71–77)

Тематические сходства романа Достоевского с поэмой Кюхельбекера налицо; но существуют между двумя произведениями и по-настоящему потрясающие точки соприкосновения. Обратим внимание прежде всего на третий и пятый фрагменты «Агасвера». Как упомянуто выше, в третьем фрагменте Агасвер вступает в спор с загадочным персонажем, «Некто», аргументирующим, что «к земному сын земли / Стремиться должен. Призраки, туманы, / Поэтов и софистов бред, обманы / И ложь

¹⁸ Ср. примечание Кюхельбекера к первому фрагменту: «пусть религия не будет для вас никогда средством для достижения мирских целей, как бы, впрочем, эти цели ни были благородны и высоки. Даже те, которые, напр., как испанское духовенство в войну с Наполеоном, употребляли веру для воспламенения любви к отечеству и ненависти чужеземному владычеству, все-таки унижали ее чистую святость – и в своих понятиях не слишком разнились от утилитарного богохульства некоторых философов XVIII века, говоривших, что религия – очень недурная выдумка для обуздания глупой черни» (Там же. С. 415).

жрецов в надоблачной дали» (III; 5–8); «Некто» заключает, что единственный правильный подход к жизни – «...власть / и страх, который навожу на ближних, / Готовых в прах передо мною пасть. / Богатство, сила, блеск почище вздоров книжных» (III; 25–28). “*Власть и страх*” – главные средства для угнетения душевных стремлений к искусству, свободе и любви и для установления мнимого благополучия. В этом высказывании звучит что-то безусловно похожее на тезисы Великого Инквизитора:

Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет <...>. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют <...>. ...мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить (14, 232, 236).

Чудо, тайна и авторитет соответствуют почти дословно *власти и страху*, о которых говорит «Некто». В поэме Кюхельбекера Агасверу неожиданно предоставляется роль защитника веры против скептицизма его собеседника, которому он возражает, что «Сошел же рок и – по *Его* словам: / За смерть *Его* нам, нечестивым, в кару / Бог повелел мечу, и язве, и пожару <...>. / И согрешили мы, / Что от сошедшего с небес в юдолю печали – / Да будет светом среди тьмы, / Владычества земного ожидали» (III; 43–45, 50–53).

Когда Кюхельбекер в сибирской глуши писал эти стихи, ему еще нечего было ссылаться на идеи социализма в зачатии и на современную ему утопическую мысль, хотя примерно в те же самые годы молодой Достоевский увлекался новыми гипотезами социального строя; тем не менее именно тема мнимого рая на земле, в котором зрелый Достоевский видел «вавилонскую башню», сближает двух писателей до неожиданности. Как известно, в Иване Достоевский намеревался показать изнутри тип русского молодого социалиста или анархиста (см. выше, письмо Н. А. Любимому от 11 июня 1879 г.). Если Кюхельбекер был еще ориентирован на французских *philosophes* и на якобинцев («питомцы мудрований, / Которые секирой отрицаний /

Всё разрушают, но в которых нет / Ни пламени, ни жизни для созданий, / Которых тусклый и неверный свет, / Лишенный теплоты лучей и силы, / Дрожит над зевом мировой могилы» – III; 393–399),¹⁹ то Достоевский схожим образом и по примерно тем же причинам обращает свое взволнованное внимание на современные ему политические атеистические движения. Так же, как и Кюхельбекер, Достоевский видел в эволюции католицизма риск слияния с социалистическим материализмом, как он утверждал в «Дневнике писателя» за 1877 г.²⁰ Герои обоих авторов – Агасвер и «Некто», с одной стороны, Иван Карамазов – с другой признают существование Бога, но не принимают Его творение – ср. письмо Достоевского Любимову от 10 мая 1879 г., где убеждения Ивана названы «*синтезом* современного русского анархизма. Отрицание не Бога, а смысла Его создания» (30₁, 63; ср. также 30₁, 66).

В пятом фрагменте поэмы «Агасвер» критика католицизма, вроде изменяющего Царству Небесному ради царства земного, дается в самом экспрессивном виде в сопротивлении двух противоположных фигур – Мартина Лютера и одного безымянного кардинала, обвиняющего его в еретических взглядах перед Вормским сеймом. В этом фрагменте донельзя ярко просматривается тесная структурная близость с поэмой о Великом Инквизиторе. Историческое событие известно: в 1521 г. Лютер был вызван императором Карлом V в Вормс для того, чтобы выступать перед сеймом в защиту своих тезисов, которые обвинялись в ереси. На сейме обвинение было действительно принято императором, и Лютер был отлучен от католической церкви. Кюхельбекер, который был лютеранином, видел в Мартине Лютере верозащитника, готового отречься от духовенства и рисковать собственной жизнью ради истины. Пятый фрагмент поэмы и показывает его драматическое столкновение с императором Карлом и с церковной властью. Стоит полностью привести большой отрывок из этой сцены:

¹⁹ См. там же: «Питомцы мудрости высокомерной», чей «род строптивый – род неверный» – III; 98–99.

²⁰ Ср., напр., «Дневник писателя», май–июнь 1877 г.: «...если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино» (25, 160).

Насмешник пагубный и едкий,
Философ, филолог и диалектик редкий,
Сам кардинал вступил с суровым немцем в спор,
А кроме вечного божественного Слова
Не знает Лютер ровно ничего;
Всех знаний и всех чувств и мыслей всех основа –
Единое оно наука для него.
Бой начался. И кардинал лукавый
Сначала, будто тигр, жестокий и кровавый
В самом медлении, свирепо-терпелив,
Прилег и дремлет, когти притаив;
Стремит на жертву масляные взгляды
И льет реками мед обильной звучной свады;
Потом без принужденья перешел
К иронии; вот легкие угрозы;
Вот снова на глазах явились чуть не слезы...
Но наконец его зарокотал глагол.
И засверкал сарказм, и громы Ватикана
В персть, кажется, сотрут германца-великана.
Спокоен Лютер; изворотлив враг,
Блестящ, язвительен, красноречив и тонок;
Полудикарь тедеск все тот же: без уклонок
За речию его идет за шагом шаг,
Не опирается на разум ломкий,
Но произносит текст решительный и громкий –
И разлетелись врозь, как стаи диких птах,
Софизмы мудреца. И смотрит вверх монах,
И самого себя смиряет он и малит,
И молча молится, и молча Бога хвалит.
Неистовый доминиканец Эк
Сменяет кардинала-дипломата;
Но этого невежу-супостата
Уничтожает вмиг великий человек.
И за учителем подьемлетя учитель,
И много доблестных; но всех их правота
Сражает именем и помощью Христа;
Отважный Лютер всех их победитель (V; 87–123).

Велеречивый кардинал и «неистовый» доминиканец – инквизитор Иоганн Экк – противопоставлены тихому и молчаливому Лютеру; кардинал – «философ, филолог и диалектик редкий», в то время как «кроме вечного божественного Слова / Не знает Лютер ровно ничего». Экспрессивная и концептуальная сила сопоставления держится на дихотомии между риторическим многословьем – сложным, звучным, лживым – и молчанием, содержащим простое, истинное Слово. С одной стороны, постро-

енная речь, философствование, мудрствования, софизмы; с другой – Лютер «без уклонок / За речию его идет за шагом шаг, / Не опирается на разум ломкий, / Но произносит текст решительный и громкий». Лютер спокоен, суров; кардинал «блестящ, язвитель, красноречив и тонок». Параллелизмы с поэмой о Великом Инквизиторе, кажется, не ограничиваются случайными совпадениями. На такой же дихотомии держится «диалог» между красноречивым и рационалистичным Инквизитом и молчаливым Иисусом, не вступающим в спор и уклоняющимся от человеческой логики.²¹ Философия, отрешенная от метафизического начала, становится самооправдывающимся упражнением, строгая последовательность которого держится на (ложной) претензии самодостаточности разума; итог такой философской постановки – оправдание лжи и зла во имя правды и разума. Иван Карамазов, выбирая для своей поэмы Испанию эпохи инквизиции, все же не пропускает аллюзию на лютеранскую Реформацию, с которой действие совпадает и по времени: «Пятнадцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование прийти во царствии своем <...>. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь» (14, 225–226).²² Отношение Ивана (и Достоевского) к протестантизму – крайне отрицательно, прямо противоположно отношению к нему Кюхельбекера (который, впрочем, будучи лютеранином, тоже жаловался на излишество рационализма протестантской культуры); в то же время полностью совпадает основная идея: при постепенном распространении скептицизма, отрицающего чудеса и другие явления духовной жизни, все же остаются

²¹ О разных функциях молчания в творчестве Достоевского ср. блестящую последнюю предсмертную статью: *Клейман Рита*. Поэтика молчания в художественном мире Достоевского и полилог культур большого времени // *Аспекты поэтики Достоевского*. СПб., 2011. С. 245.

²² В плане исторических рамок поэм знаменательно следующее сравнение: у Кюхельбекера «Сам *кесарь* судия; с ним вместе *кардинал* / И семь *экторов*: не убоится ль иннок? <...>. / И в Думе городской сошелся весь *сбор*: / *Князья, епископы*; шляп, шлемов, перьев бор, / *Все рыцарство*; сидят» (V; 16–21); а у Достоевского – «в “великолепном автодафе”, в присутствии *короля, двора, рыцарей, кардиналов* и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена *кардиналом* великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad majorem gloriam Dei*» (14, 226 – *курсив везде мой*).

люди, способные верить и готовые страдать за истину: «Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему по-прежнему, ждут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него...» (14, 226). Аллюзии на Лютера и на Реформацию встречаются и в других местах «Братьев Карамазовых», а также и в «Дневнике писателя». Портрет немецкого монаха-протестанта, мелькающий в поэме Кюхельбекера, мог бы привлечь внимание Достоевского безусловно. Так или иначе, фигуры Христа в «Братьях Карамазовых» и Лютера в «Агасвере» во многом совпадают, их поведение характеризуется прежде всего молчанием: «...узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать» (14, 239); «Спокоен Лютер; изворотлив враг / <...>. И смотрит вверх монах, / И самого себя смиряет он и малит, / И молча молится, и молча Бога хвалит» (V; 106, 113–115).

Великий Инквизитор упрекает Христа за то, что Он человеку предложил свободу вместо счастья. По такому пути, считает Инквизитор, за Ним последуют только фанатики, а разумные сознательные люди должны спасти человечество «властью и страхом», если выражаться словами «Некто», дать ему счастье порабощения и безответственности:

...они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». <...> ...мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными! (14, 231)

Это примерно та же преступная ошибка, которую совершил изначально Агасвер, не принимая настоящую цель сошествия Христа:

«Он [Христос] мог – но разгадать Он не умел
Сердце народа... Смерть и поношенье
Да будет вечно всякому удел,
Кто нас введет в бесплодное прельщенье!» (I; 380–383)

В обоих произведениях подчеркивается неспособность героев принять «ношу» свободы, принесенной Христом, и «ошибку» Христа, не умеющего, по мнению и Агасвера, и Инквизитора, «разгадать» природу человеческого сердца.²³

²³ О мотиве неполноты знания Христа ср.: *Тихомиров Б. Н.* Христос и Истина в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» // Достоевский

Стефано Алоэ

Но, уз иного плена разрешитель,
Христос остался тем же, чем и был;
Не грозный вождь, не дерзостный воитель,
Пред коим в страхе обращают тыл
Полки врагов, – нет, скорбных утешитель,
Бессмертных истин кроткий возвеститель,
Недужных друг и врач больных сердец <...>.
Нет, и не мыслит возвратить свободу
Спаситель всех Адамовых сынов
Не терпящему *временных* оков,
Но к *вечным* равнодушному народу! (I; 288–294, 308–311)

За то и Великий Инквизитор, как Агасвер, возненавидел Христа, который

Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. <...> Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! (14, 233)

Вечному Жиду Кюхельбекер снова предоставляет слово в заключении эпизода «Лютер», во время которого он, незаметный, только все молча слушал; Агасвер сам с собой высказывается по поводу немецкого верозащитника:

«Фанатик! много их, –
Он молвил, – в стаде Иисуса!
Жаль, не сожгли его, как Иоанна Гуса!»
Но нечестивец вдруг притих:
Ему явился ряд таких воспоминаний,
Которые излили ток страданий
В окаменелую от долгой муки грудь, –
И Агасвер был принужден вздохнуть. (V; 195–202)

Сравним последние реакции Великого Инквизитора после Иисусова поцелуя:

...когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. <...> Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескров-ные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. *Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его*; он идет к двери, отворяет ее

и мировая культура. СПб., 1999. № 13. С. 147–177: в этом же Его упрекает Инквизитор («Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! <...> понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога...» – 14, 233).

и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» (14, 239 – *курсив мой*)²⁴

Создается целый ряд наблюдений побочного характера, подтверждающих основное предположение, что параллелизмы между поэмами Кюхельбекера и Достоевского не случайны. Само совпадение в названии *поэма*, при вышеуказанных тематических совпадениях, вряд ли незначительно. Тем более значимо было бы это совпадение, если бы можно было доказать, что и второе общепринятое определение поэмы Достоевского – *легенда* – принадлежит самому писателю. Насколько известно, Достоевский называл эпизод исключительно *поэмой*, но в то же время если верно воспоминание В. Ф. Пуцыковича, согласно которому Достоевский ему продиктовал объяснение о значении *легенды* в романе, – то мы бы имели налицо двойное совпадение: трудно не ассоциировать *легенду* о Великом Инквизиторе с известнейшей *легендой* о Вечном Жиде.²⁵ Но прежде всего следует опираться на бесспорное совпадение первого названия двух произведений – *поэма*. Ведь Иван Карамазов не только высказывает в разговоре с братом свои убеждения: он передает их в форме наброска, произнесения вслух своих внутренних творческих размышлений, с намеком на поэму, которую он будто бы «сочинил», но «не написал» на эту тему.²⁶ В речи Ивана мелькают действительно довольно явные отголоски, ремарки,

²⁴ Реакция Великого Инквизитора, кстати, напоминает и реакцию императора на поведение Лютера: «Нахмурил брови Карлос величавый / И скипетром махнул и бросил гневный взор / <...>. / Властитель Лютеру сказал: “Они не правы, / Но слишком дерзок ты, свой голос ты понизь; / Ступай, от своего ученья отрекись”» (V; 143–148).

²⁵ См.: *Пуцыкович В. Ф. О Ф. М. Достоевском* (Из воспоминаний о нем) // Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках / Сост. Ч. Ветринский [В. Е. Чешихин]. М., 1923. Ч. 1. С. 152–153 (впервые: Новое время. 1902. 16 янв. (№ 9292)). Следует отметить, что уверения Пуцыковича, что он передает точные слова, продиктованные ему Достоевским для публикации, не доказаны, а его воспоминания приняты биографами писателя с некоторой осторожностью (ср.: 15, 482; см. также: *Отливанчик А. В. Достоевский в неизданной корреспонденции В. Ф. Пуцыковича 1899–1911 гг.* // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 2010. № 19. С. 429–441).

²⁶ О поэме Ивана как опыте в жанре импровизации см.: *Сараскина Л. И. Поэма о Великом инквизиторе как литературно-философская импровизация на заданную тему* // Достоевский и мировая культура. СПб., 1996. № 6. С. 125–140.

фрагменты достаточно традиционного поэтического языка как в плане возвышенной лексики, так и в плане синтаксиса и, казалось бы, даже ритма. «Поэма» звучит как квазипоэтическая импровизация, обоснованная на придуманных прежде, может быть стихотворных, фрагментах, например:

Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку <...>; лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его <...>; Он всё видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. <...> сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. <...> Тимур и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле <...>; станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны <...> Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют... (14, 225, 227, 228, 235, 236).

Лексика, полная библеизмов, и некоторые морфологические обороты так же намекают на язык высокой поэзии, иногда они звучат даже (нарочито) анахронично для эпохи Карамазовых: «среди их»; «Он простирает перст свой и велит стражам взять его»; «непобедимую силой»; «пред стражами»; «из уст моих»; «примкнул к сонму» и т. п.

Есть одна-единственная открытая поэтическая цитата в поэме Ивана – из Тютчева. Но исследователи обнаружили в поэме ряд скрытых цитат из Шиллера, Гейне, Пушкина, Жуковского, Полежаева. Прямых цитат из поэмы «Агасвер» мне найти не удалось. Однако точность скрытых цитат Достоевского всегда относительна, раз их функция здесь – отражать поэтические замыслы Ивана и его начитанность («...ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал» – 14, 239). Поэтому, вероятно, скрываются в тексте еще непрочитанные, еле уловимые цитаты, и наличие уже упомянутых параллелизмов между поэмой Ивана и произведением Кюхельбекера можно вполне уподобить ряду прежде расшифрованных скрытых, неточных цитат. Достоевскому стихи самого Кюхельбекера для этой цели вовсе не нужны. Ему нужна скорее стилистика Кюхельбекера, несколько нелепая и архаичная в изобилии церковнославянизмов, как у несостоявшегося поэта Ивана.

Параллели между романом Достоевского и поэмой Кюхельбекера, настолько впечатляющие в том, что касается главы о Великом Инквизиторе, этим не исчерпаны. Они не менее значимы, если брать во внимание главу «Братьев Карамазовых», посвященную разговору Ивана с чертом.

Одна отнюдь не банальная авторская характеристика Кюхельбекера состоит в том, что, будучи намерен своим произведением бороться, во имя христианского мировоззрения, с материалистическими концепциями мира и истории, он тем не менее предоставляет слово и врагам духовности, представляя эту борьбу в свободном и откровенном изложении противоположных позиций и лишь целостностью сюжета «доказывая» правоту одной из них – христианской. Таким образом, идеологические противники истины говорят «убедительно», откровенно, часто парадоксально: писатель не скрывает их аргументов, а чем они сильнее, тем легитимнее и крепче истина, их в конечном счете опровергающая. Такой творческий прием сближает Кюхельбекера и Достоевского, который так же пишет с позиции верующего и противника материализма, но предоставляет полное и убедительное слово «атеисту» Ивану и другим персонажам, по-разному враждебным мировоззрению самого писателя. Один из этих персонажей – самый парадоксальный и тонкий – это Иванов черт. О литературной генеалогии черта Ивана Карамазова написано много; существует широкая и разнородная традиция изображения дьявола в виде лживого человечка, то смешного, то мелкого, то утонченного и даже привлекательного джентльмена. Обнаружено несколько прямых источников, начиная с Мефистофеля в гетевском «Фаусте», с «Хромого беса» Лесажа, и др.²⁷ Особое внимание проявили исследователи к русским прототипам черта Ивана, и были убедительно упомянуты произведения Пушкина («Сце-

²⁷ См. комментарий Г. М. Фридендера к ПСС (15, 465–469), а также: Кийко Е. И. К творческой истории «Братьев Карамазовых» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1985. № 6. С. 256–262; Щенников Г. К. Иван Карамазов – русский Фауст // Достоевский и мировая культура. СПб., 1996. № 6. С. 5–33; Альми И. Л. Об одной из глав романа «Братья Карамазовы» («Черт. Кошмар Ивана Федоровича») // Достоевский и мировая культура. М., 1996. № 7. С. 4–17; Gigante G. Dostoevskij onirico. Napoli, 2001. P. 166–180; De Michelis C. G. Il diavolo di Dostoevskij // Il diavolo e l'Occidente / A cura di P. Capelli. Brescia, 2005. P. 117–130.

ны из Фауста»), Гоголя («Ночь перед Рождеством») и, прежде всего, Лермонтова: в хорошо известной Достоевскому «Сказке для детей» Лермонтов подчеркивает, в частности, светскость персонажа: «Но этот черт совсем иного сорта – / Аристократ и не похож на черта».²⁸ Достоевский явно опирается на эту «бытовую» линию, так широко проникшую в русскую литературу периода романтизма, противопоставляя пошлость мелкого беса страшной величавости мильтоновского Сатаны или байроновского Люцифера: «...простите моего *Черта*: это только черт, мелкий черт, а не Сатана с “опаленными крыльями”».²⁹ Абсолютно такая же смесь светскости, аристократизма и смешной мелочности встречается в трактовке беса в произведениях Кюхельбекера. Литературный первоисточник Кюхельбекера, так же как и Пушкина, Лермонтова и Достоевского, все тот же – фаустовский Мефистофель. Но некоторые текстологические наблюдения позволяют предполагать, что перед нами не одно лишь общее литературное наследие гетевского образа.

Как всякого романтика, и Кюхельбекера тянуло к пестрой фигуре дьявола, как в виде падшего ангела, демона, так и в бытовых – мефистофельском и смешном – вариантах. В этом «реалистическом» виде персонаж-бес появляется в творчестве Кюхельбекера уже до появления вышеупомянутых произведений Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Не только гетевский Мефистофель, но еще больше Пэк, Ариэль и прочие демоны романтических комедий Шекспира служили ему образцами для подобных персонажей, начиная с комедии «Шекспировы духи», опубликованной в 1825 г. и резко раскритикованной Пушкиным, который тем не менее в дальнейшем не забыл некоторые экспериментальные находки пьесы друга.³⁰ Кюхельбекер не раз и в других произведениях возвращался к шекспировским «демонам», то оставляя им те же имена, то «переодевая» их в фигуры славянского фольклора вроде Кикиморы и Шишиморы (см. мистерию «Ижорский», драму «Иван, купецкий сын» и др.). К периоду между 1825 и 1826 гг. относится один черновой на-

²⁸ Лермонтов М. Ю. Сказка для детей // Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 586.

²⁹ Письмо Ф. М. Достоевского Н. А. Любимову от 10 августа 1880 (30₁, 205).

³⁰ Ср. письмо А. С. Пушкина П. А. Плетневу, 4–6 декабря 1825 г.: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 15 т. М., 1998. Т. 13. С. 304; Эйхенбаум Б. М. О замысле «Графа Нулина» // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 169–180.

бросок, до сих пор полностью не опубликованный, по названию «Меламегас. Бес-Человек».³¹ Вероятно, Кюхельбекер оставил эту идею из-за трагических событий, связанных с его участием в декабристском восстании, побегом и арестом. В наброске рисуется фигура беса Меламегаса, модного, опрятного господина, который холодно доказывает, что

Бог, красота, добро, бессмертье – предрассудок,
И глупость, стало быть, единственный порок,
Вселенной правит случай или рок,
Людьми же – похоть и желудок...

Меламегас – это современный бес – «Страдалец вечный и злодей», «Великий, дивный сын паденья».³² Очевидно родство этого персонажа с вышеупомянутым антагонистом Вечного Жида, неопределенно обозначенным как «Некто». Если в других фрагментах поэмы Агасвер призывает Бога, «в суетной надежде» (VII; 240), что век рационализма опровергнет Божий Промысел, в том третьем фрагменте он неожиданно превращается в защитника Истины против скептицизма, хоть и не может смириться со своей судьбой; он, так сказать, сознательно *отказывается от своего билета*. А перед ним выступает, велеречиво и насмешливо, «Некто», подлинную идентичность которого раскрывают настоятельные намеки автора в течение долгой тирады, направленной против современных скептиков, не верующих в существование ни Бога, ни дьявола. Во времена Мильтона, аргументирует Кюхельбекер, и поэт и читатель представляли себе добро и зло не абстрактно, ведь верили метафизике: «Да! не в метафору в те дни и смерть и грех, / А в зримое лицо, в чудовищное тело / Поэта вдохновение одело <...>. Блестящих ангелов в золотых полях небес / Привык я видеть, да и бес / Не мертвенное зло, без бытия живого, / Не отвлечение, а точно падший дух / И враг свирепый племени людского?» (III; 129–131, 134–138).

Как Гоголь, так и Кюхельбекер верил в реальное, физическое существование дьявола, смешивающегося с людьми и

³¹ Отдельные стихи наброска опубликованы А. В. Архиповой: *Архипова А. В. «Меламегас» – черновой набросок В. Кюхельбекера о бесе-человеке // Русская литература. 1963. № 4. С. 151–154.*

³² Там же. Ср. слова Великого Инквизитора о дьяволе: «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия...» (14, 229); впрочем, тут совпадение легко объяснимо, такой дух отрицания – от Гете.

таким образом распространяющего зло между ними. По этой же причине Кюхельбекеру было нужно изображать его в том современном и пошлом виде, каким он очертил в 20-е гг. Меламегаса. «Некто» – это возобновление прежнего эскиза:

За Фауста я себя не выдаю,
А попадался мне, и видимо, лукавый;
Не окружен, конечно, адской славой,
Не гадкая та харя, с коей нас
Знакомят сказки, Дант и Тасс, –
В пристойном виде, для стихов негодном,
То в рясе, то во фраке модном,
То в эполетах (в наш любезный век
И он премилый человек!).
Я узнавал не по наряду,
Не по улыбке, не по взгляду, –
По языку я узнавал его;
Его холодный, благозвучный лепет
Рвал струны сердца моего (III; 144–157).

Смешной или пристойный по виду дьявол отличается речью. Его обыкновенный вид позволяет ему действовать словами, незаметно. В этом, по мнению Кюхельбекера, таится опасность духа, чудовищность которого скрыта в банальной оболочке обыденности. Писатель посчитал нужным даже приложить к своей тираде два длинных примечания, в которых он фиксирует историю изображения дьявола, а именно:

Данте и Тассо <...> дьяволу вполне сохранили ту страшную маску безобразия, которую надели на него средние века и народное верование <...>. Как несчастный Спинелло Аретинский первый между живописцами, так Мильтон прежде всех поэтов дерзнул отступить от всеми принятого предания и представить князя темных сил не отвратительным чудовищем, но, по наружности, все же ангелом, хотя и падшим, сохранившим и в самом падении красоту и величавость. Но у Мильтона, как и у Спинелло, сатана ужасен самою красотой: он ею не может обмануть духов света, с которыми встречается. Только философскому безвкусию первой половины XVIII века была предоставлена честь выдумать сантиментального дьявола-плаксу – Аббадону, равно отвергаемого и небом и адом.³³

Изображение «Некто» могло бы привлечь внимание Достоевского, давно интересовавшегося не только вопросом о природе зла, но и вопросом о его воплощении в человеческой жизни.

³³ Кюхельбекер В. К. Вечный Жид. С. 434.

Иванов черт действительно во многом похож на «мелкого беса» Кюхельбекера:

Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine», как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бороде клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак (далее говорится «во фраке и в открытом жилете». – С. А.), очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды... (15, 70).

Вполне ему подходит замечание Кюхельбекера о том, что «в наш любезный век / И он премилый человек!»! Поведение обоих чертей отличается безупречными, хоть и искусственными манерами. Достоевский очень напирает на прилагательное «порядочный», почти делая из него постоянный эпитет Иванова черта, и на слова из той же сферы («порядочность», «любезный», «уживчивый», «складного характера джентльмены»...). Любезный господин способен, однако, переходить на насмешливый или саркастический тон, точно так же, как и «Некто», который, кстати, в этом отношении напоминает не только Иванова черта, но и скептика-джентльмена Миусова: Алеша боялся оскорблений старцу Зосиме, «особенно тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана» (14, 31). Миусов смешон и одновременно насмешлив, его поведение отличается поверхностной любезностью и «иностранными» (т. е. чужими) взглядами.³⁴

Примечательно, что оба черта – не Люцифер, не Сатана, не даже Мефистофель: *оба они безымянны*. Оба писателя их обозначают одинаковым неопределенным местоимением «некто».³⁵ Неопределенность их натуры, лишенной даже имени и поэтому легче скрываемой в самом нутре обыденного мира, усиливает чувство страха, охватывающего как нарратора поэмы «Агасвер», так и Ивана Карамазова перед их «гостями». Мне кажется, что выбор местоимения «некто», в отличие от более обычно-

³⁴ Отрицательная линия иностранного как чуждого проходит сквозь весь роман, ср. также о Смердякове, только что спевшем кощунственную песенку и бранящем Россию: «А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец...» (14, 205).

³⁵ «Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший...» (15, 70).

го «кто-то» и от других возможных форм выражения неопределенности по отношению к одной личности, отвечает вполне конкретным смысловым нюансам: «некто» может обозначать личность загадочную, непонятную, почему-то тревожащую и которой остерегаются. Не случайно это местоимение довольно часто встречается в фантастической литературе, так как лучше всего передает тревогу *unheimlich*, чуждого. Я выражаю большую признательность коллеге Ладе Сыроватко, которая помогла мне в разъяснении значения этого местоимения в языке русской художественной литературы XIX в.: ведь оно шире значения, которое отражается в словарях. Прочитую письмо коллеги, прекрасно синтезирующей суть дела:

Слово – по крайней мере в книжной речи – чаще всего использовалось в следующих значениях:

1. Кто-то конкретный, **ОЧЕНЬ ХОРОШО** известный автору, но имя которого он почему-либо хочет скрыть. Примечательно, что в таком случае «некто» равно «господин N» (замечательный пример у Радищева: «г<осподин> Некто».

2. Некто в значении почти нарицательном (в таком значении употребляется в басне) – здесь этот некто – тот, кто заключает в себе какие-то признаки, многим в той или иной мере присущие.

3. В романтических жанрах – балладах, песнях, романах в стихах и пр. – некто часто связывается с посланцами мира иного, и здесь «некто», по-моему, выражает неуверенность рассказчика в том, кого же он видит перед собой – посланца Неба или Ада – а возможно, и боязнь поверить в то, что он видит.

Л. Сыроватко приводит ряд примеров из поэзии и прозы конца XVIII–начала XIX в., а также из словарей разных эпох, убедительно подтверждающих ее заметки.³⁶ К сожалению, не хватает места для расширения этой темы, что, видимо, требует отдельной работы; только повторю еще раз примечательность этого совпадения, вряд ли случайного. Безымянность двух чертей подчеркивают почти одинаково оба писателя: «Так к Агасверу некто приступил, / Известный некогда под именем Денницы, / И Сатаны, и Князя темных сил, / Но эти прозвища он в старину носил» (III; 168–171), – пишет Кюхельбекер, а До-

³⁶ Напр., из «Славянки» и «Вадима» Жуковского, «Светланы» и «Мстислава» Востокова, «Почты духов» Крылова, а также из «Словаря русского языка XVIII века» (гл. ред. Ю. С. Сорокин. Вып. 14: Напролет – Непоцелование. СПб., 2004. С. 210), из которого явствует, что одно из значений «некто» – «*Кто-то, кого не хотят называть*».

стоевский, также приступив к теме с горькой иронией по поводу глухоты современности к вере и метафизике, заставляет своего персонажа заключить: «Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя» (15, 77).

Во многом совпадают в аргументациях двух чертей и их собеседников идеи о том, что современность потеряла ту веру в реальность духовных явлений и в реальное существование Бога и дьявола, которая до периода Просвещения характеризовала европейскую мысль (также ср. иронические высказывания Ивана о чудесах). «...ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, “тремя и блистая”, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде», – говорит черт Ивану (15, 81). А Кюхельбекер даже включает пару обстоятельных примечаний к эпизоду с «Некто», с целью подчеркнуть разницу между культурным и литературным восприятием дьявола в прошлом и настоящем.

Описанные параллельные наблюдения служат почти неопровержимым доказательством: они нам позволяют заключить, что Достоевский ознакомился с поэмой Кюхельбекера, опубликованной в 1878 г. в журнале «Русская старина». В качестве добавочного подтверждения можем еще отметить следующие факты:

– В середине апреля 1878 г. – это время первоначальных набросков романа «Братья Карамазовы» – Достоевский оставил себе запись *pro-memoria*: там, между прочим (27, 116), записано о желании прочесть книги, среди которых исторические эссе Т. Карлейля (*Histoire de la Révolution française*) и И. Тэна (вероятно, книгу *L'Ancien Régime*, которую вскоре, в конце апреля или в самом начале мая, ему прислала А. П. Философова – ср. 30₁, 30). Интерес писателя к этим историкам и к переходу от «старого порядка» к революции был не новым; тем не менее не исключено, что он возобновился в его памяти после чтения только что вышедшего тома «Русской старины», и, в частности, после чтения фрагмента поэмы «Агасвер», посвященного французской революции.

– Имя уже упомянутого папы Григория VII звучит в первой части «Братьев Карамазовых» во время оживленного разговора между старцем Зосимой, монахами, Миусовым и Иваном Карамазовым о церковном суде и о разделении церкви

и государства. На слова старца о преображении – «из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь» (14, 61), – Миусов возражает: «Это не то что ультрамонтанство, это архиультрамонтанство! Это папе Григорию Седьмому не мерещилось!» (там же); на что отец Паисий отвечает, что «не церковь обращается в государство <...>. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение! А, напротив, государство обращается в церковь...» (14, 62). Григорий VII был папой, победившим и унизившим императора Генриха и утвердившим примат римской Церкви над Империей. Об этом и в четвертом фрагменте «Агасвера», где Вечный Жид упрекает Григория, на одре смерти – «И царство твое не есть сего мира? / А ряса наместника Господа Сил / Ответствуй, – ужели не та же порфира? <...>. / Ужель Христу служил ты? – духу, / Владыке мрака ты служил» (IV; 65–67, 138–139).

Впрочем, тема секуляризации западной церкви звучит одним из лейтмотивов поэмы Кюхельбекера, так же, как и романа Достоевского; в процитированном разговоре в монастыре старец Зосима говорил о том, что

во многих случаях *там церквей уже и нет вовсе*,³⁷ а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство (14; 60–61 – *курсив мой*).

У Кюхельбекера папа Григорий при смерти признает истину и искупает свои грехи; однако его внутренний портрет недалек от портрета Великого Инквизитора – человека по-своему прямого и строгого, убежденного в своей правоте:

Увы мне! к ближнему суров,
К себе еще жесточе, строже,
Я и на троне был монах,
Был сух мой хлеб и жестко ложе,
И что ж? – соцарствовал мне страх:
Поправ закон любви смиренной,
Я гордых попираю во прах,
Я, судия царей надменный! (IV; 149–156)³⁸

³⁷ Ср. у Кюхельбекера: «Всё рушилось, всё пало; церкви нет» (VII; 78).

³⁸ А в примечании Кюхельбекер комментировал: «Называйте, как угодно, Гильдебранда [т. е. Григория]: честолюбцем, жестоким, пронырливым, –

– «кроме вечного божественного Слова / *Не знает Лютер ровно ничего*» – ср. слова о слуге Григории, который «добыл откуда-то список слов и проповедей “Богоносного отца нашего Исаака Сирина”, читал его упорно и многолетно, *почти ровно ничего не понимал в нем...*» (14, 89 – *курсив мой*). Совпадение это неполно и, вероятно, случайно; однако считаю бесполезным его привести в рамках более существенных параллелей: там, где Лютер ровно ничего *не знает*, бедный Григорий ровно ничего *не понимает*. А вдруг перед нами скрытая, внутренняя (не ориентированная на читателя, а, так сказать, «лабораторная») полемика Достоевского против Лютера? Стоило бы проследить и этот путь, вспоминая разных героев писателя, берущихся за самостоятельное толкование священных книг, и его отношение к ним (в случае Григория, по крайней мере ироническое).

– Есть определенные параллели между Иваном Карамазовым и Вечным Жидом. Об Иване можно было бы сказать то, что Кюхельбекер пишет в определении героя своей поэмы: «где гордыня, там не созревает вера».³⁹ Так же, как Агасвер, и Иван по-настоящему не атеист: он перед Богом *в сомнении*. Оба героя сомневаются, прежде всего, по поводу смысла и справедливости Божья создания. Оба не воспринимают самопожертвование праведников, страдания невинных, гордыня не дает им преклоняться перед идеей, что смысл страданий и зла – выше разума, непостижим. От этого их искренний и безвыходный бунт.

Эпиграф к роману «Братья Карамазовы», взятый из Евангелия от Иоанна, звучит как бы для Вечного Жида: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Агасвер, не способный умереть, не может превратить свое исключительное свидетельство в плоды, в отличие от святых и мучеников, с которыми он сталкивается во время своего бессмертного жиз-

но лицемером он едва ли был: жизнь он вел самую строгую, истинно постническую; сверх того, по месту, которое занимал, и по духу времени, сам глубоко убежден был в святости своих прав» (*Кюхельбекер В. К. Вечный Жид*. С. 441).

³⁹ «Пред ним воскрес Христос в них, избранных Христа; / Так с тверди солнце сходит в грудь кристалла, / Так в лучезарные, златые небеса / Им превращается смиренная роса. / Но где гордыня, там не созревает вера; Надменных чуждо божество; / Сразило то святое торжество, / Но не торгом, сердце Агасвера» (III; 517–524).

ненного пути. Он, один из прототипов «Великого Грешника», вечно страдает от неспособности, узнавши истину, ее принять, страдает от своего «отказа от билета». Параллель Ивана с Агасвером тем более существенна, если иметь в виду, что Достоевский сопоставил своего героя и с Лютером, упомянутым самим чертом (по поводу «Лютеровой чернильницы»): как было замечено уже В. Чижом, диалог Ивана с чертом напоминает как раз высказывания Мартина Лютера о его конфликтных диалогах с дьяволом.⁴⁰ Тематическая связь главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» с поэмой «Агасвер» получается таким образом двойной, поскольку касается и спора Агасвера с чертом, и образа Лютера.

В поэме Кюхельбекера Достоевский мог найти интересные примеры бунта Агасвера, pro et contra (споры между Агасвером и «Некто», Агасвером и папой Григорием...), фигуру молчания (Лютер), критику рационализма, доведенного до атеизма и до отрицания свободы во имя счастья, очертание мелкого современного беса... Одним словом, главнейшие темы романа «Братья Карамазовы». Остается нерешенным вопрос – почему имя Кюхельбекера полностью отсутствует в дебрях бумаг Достоевского? Почему об Агасвере ни упоминания? Кажется, причины могут быть частью сознательными, частью внутренними. Попытаюсь дать достоверный ответ, возвращаясь к наблюдениям Н. Тмарченко, процитированным во вступительной части этой работы, о скрытых цитатах Достоевского. «Скрытые цитаты, – пишет Тмарченко, – могут служить специальными знаками или указаниями на жанровую традицию, которая, по предположениям автора, должна быть читателю известна».⁴¹ Тогда когда *знаки* брошены читателю с целью включить у него «память жанра», то источник сам по себе теряет всякое значение, он лишний, более того, раскрытие цитаты и выделение чужого авторства могло бы даже мешать узнать нужное – т. е. мотивы, ситуации, жанровую традицию. Тем более лишним для творческого процесса писателя могло быть раскрытие цитаты из в общем неизвестного произведения позабытого поэта, знаменитого, пожалуй, лишь в качестве декабриста и чуда-

⁴⁰ Чиж В. Достоевский как психопатолог. М., 1885. С. 18.

⁴¹ Тмарченко Н. Скрытая цитата как отсылка... С. 23.

ка-литератора, жертвы иронии его великого друга Пушкина. Вряд ли анахроническое произведение Кюхельбекера могло бы удовлетворить Достоевского в плане поэтики (ср. суждение о нем Толстого): если что-то задержало его внимание на страницах «Русской старины» – это могли быть только тематика и ситуации, выделенные Кюхельбекером, в лучшем случае – его мировоззрение и религиозно-философские рассуждения.

Более того, удержав в памяти⁴² некоторые мотивы, отрывки и интуиции, найденные у Кюхельбекера, Достоевский все-таки не мог принять их полностью: фрагмент поэмы «Агасвер» с участием Лютера мог представлять для него интересную подсказку для воплощения собственной идеи о встрече Великого Инквизитора и Христа; но никак не могла его устраивать апологетическая трактовка Лютера как праведника, тем более, что отрицание западных ответвлений христианства – католицизма и протестантизма – во имя православия – является одним из ведущих идеологических тезисов «Братьев Карамазовых». Цитирование упомянутого фрагмента «Агасвера» могло быть только скрытым. Наверное, сам факт участия Кюхельбекера в декабристском восстании мог показаться Достоевскому щекотливым, если учесть явные биографические совпадения: оба писателя были арестованы в молодости за революционную деятельность, у обоих смертная казнь была заменена заточением «высочайшим повелением», оба сидели изначально в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и закончили свое отбывание наказания в Сибири. Достоевский проезжал каторжником в Тобольске спустя только четыре года после того, как в этом городе скончался Кюхельбекер, там писатель и познакомился с декабристами и их женами. А теперь Достоевский писал роман об отрицательном влиянии анархистов-атеистов и социалистов во имя христианской веры, как он сам объяснял это в своих письмах Победоносцеву и Каткову, и в номере «Русской старины» он имел возможность читать поэму,

⁴² Похоже, что Достоевский именно удержал в памяти куски и «спышки» из поэмы Кюхельбекера: при отсутствии дословных цитат мы обнаружили целый ряд текстовых приблизительных совпадений, свидетельство чтения не очень пристального и, в любом случае, далекого по времени: ведь Достоевский написал «поэму» о Великом Инквизиторе спустя год после появления в печати произведения Кюхельбекера (весной 1879 г.), а главу о черте еще через год.

опровергающую деятельность революционеров предыдущих поколений, написанную на примерно той же основе... Сходство поразительное, но в интересах ли Достоевского показать это? Так же показательно, что Достоевский никогда не афишировал свои многолетние отношения с М. И. Семевским, явно его компрометирующие ввиду радикальных взглядов историка и его интереса к декабристам, слишком близко напоминавшего политическое прошлое писателя, который, напротив, стремился теперь доказать свое отречение от тех идей. Поэтому не сохранилось ни каких-либо упоминаний, ни одного письма Достоевского Семевскому,⁴³ в то же время деятельность историка все-таки очень интересовала писателя, а поскольку они оказывались идейно не близки, то использовать его идеи было проще, если их не цитировать.

Отдельная тема, которую оставляю для дальнейшей работы, – сопоставительный анализ творчества Кюхельбекера и Достоевского, сосредоточенный на существенных общих тенденциях этих двух авторов: требовании определенного соотношения литературных и этических побуждений в концепции художественного произведения. В этом русле можно будет выделить целый ряд общих мотивов и различных, хоть иногда и сходящихся, приемов для их художественного воплощения. Как ни странно, есть в литературе измерение, в котором творчество Кюхельбекера и творчество Достоевского могут стоять рядом.

⁴³ Доказано, что Достоевский писал Семевскому хотя бы дважды, но те письма утрачены (см.: *Отливанчик А. В. Достоевский в период редактирования «Гражданина»... С. 405*).